

ОТ АВТОРА

Все газетные цитаты, приведенные в книге,—
подлинные. Автор по национальности — русский.

Москва, 1962 г.

Часть первая

Первым впечатлением, которое он запомнил, был радужный солнечный зайчик на стене. Обои были светлые, в крупных косых клетках, и в самую середину одной из клеток упал зайчик и лежал там, не шевелясь, притихший и полосатый, сияющий каждым цветом.

Маленький мальчик еще толком не знал названий цветов — ему было всего три года. Он засмеялся и стал ловить зайчик рукой. Зайчик не давался: он только лег сверху на желтоватую худенькую руку и чуть-чуть изменил цвета. Мальчик был счастлив.

Он сидел на постели у мамы, на подушке, между мамой и зайчиком. Он давно не видел маму: она куда-то исчезла, а потом вернулась, и вот сейчас, сидя на подушке, он был ужасно счастлив, весь дрожал от счастья и от страха, что мама снова уйдет. Мама лежала желтая и бледная, та и не та, не совсем знакомая, стриженная, с короткой щетинкой на черной круглой голове. Малыш трогал щетинку пальцем, узнавал маму и боялся себе поверить и на всю жизнь запомнил радужный зайчик на светлых обоях и ощущение счастья, смешанное со страхом, что оно уйдет.

Потом, много позже, он узнал, что это было в двадцатом году, что мама болела тогда сыпным тифом и чуть не умерла, а радужный зайчик шел от хрустальной пепельницы на столе. Это была крупная пепельница из светлого, тяжелого хрусталя с гладкими сияющими гранями. Когда мальчик подрос, он сам научился в солнечные дни поворачивать пепельницу рукой и гонять зайчика по стене. Так и плясал над детством, над жизнью радужный зайчик, а потом стал появляться все реже и реже, пока, наконец, не погас совсем.

Мальчика звали Константин Левин.

Его родители — Исаак Левин и Вера Бергман — встретились в 1912 году на студенческой вечеринке. Он — студент-технолог, она — курсистка-бестужевка. Оба молодые, даже очень. Оба — революционеры. Оба пошли в революцию потому, что иначе жить было нельзя.

Вера была веселенькая, черненькая, с доверчивыми круглыми глазами и мелкокудрявыми волосами, до того мелко, что они даже не казались пышными. Когда она, смеясь, открывала рот, там сидели плотно, как горошины в стручке, голубые зубки. Она очень мило картавила, и каждое «р» подпрыгивало и каталось в горле таким шариком. Вера часто смеялась, любила общество, трудно огорчалась и легко утешалась, а в беде была твердая как камень. Смеющийся кремешок. Его бьют, а от него — смех и искры.

Многие считали ее легкомысленной. И трудно было догадаться, не догадывался никто, что эта

смешливая, легонькая, веселая Вера носит с собой, глубоко упрятав внутрь, одну вечную, страшную картину. Это были мертвые — дед и Циля.

Деда и сестренку Цилю убили погромщики в девятьсот пятом году. Вере тогда было двенадцать лет. Дед лежал на спине, повернув голову набок, с косо отброшенной в сторону седой бородой. Он был неподвижен, но казалось, что он бежит, отчаянно топчется, и бороду отдуло в сторону ветром. А поперек широкой дедовой груди, поникнув, как изломанный стебель, бескостно лежала маленькая Циля, с голубым личиком, в реденьких, колечками, черных курдюшках. Дед держал ее, словно оберегая и унося с собой, — старческой, белой и очень сухой рукой с голубыми жилами.

Эта картина всегда была при ней. Стоило Вере замолчать, задуматься, попросту перестать смеяться, как внутри что-то соскальзывало — словно маятник к положению равновесия, — и снова перед глазами лежали, на испачканной красным земле, дед и Циля. Только за собой недосмотришь — они снова тут. Дед и Циля.

Сначала от этого хотелось кричать, кусать руки, но постепенно Вера почти привыкла к ним. И сама картина с годами изменилась, стала спокойнее, и дед теперь лежал в памяти неподвижнее, и не так относил ветром его бороду. Но это всегда было в ней, и в революцию Вера пошла из-за них: деда и Цилю. Невозможно, чтобы так было. Что-то делать надо, чтобы так не было.

Ию Левина Вера увидела впервые на пороге маленькой квартирке, где была назначена сходка. Она позвонила, он открыл дверь. Бежала по лестнице,

опасалась слезки, запыхалась, а тут еще с морозу в тепло. Ресницы длинные, она ими хлопала, стряхивала снежинки.

На пороге стоял высокий, смуглый, тонкий, как хлыст, юноша с огромными, светлыми, веселыми до наглости глазами. Эти глаза всего больше запомнились, да еще спутанные русые волосы, мокрые спереди, прилипшие ко лбу. На нем была белая, сияющая косоворотка и крученный шелковый пояс с кистями. Студенческая тужурка каким-то чудом держалась на одном плече. В руке — гитара.

— Я — Вера Бергман, — сказала Вера. Маленький шарик два раза перекатился у нее в горле.

Студент поглядел на нее, неистово-радостно засмеялся глазами, но себя не назвал. Вместо того чтобы поздороваться, он переложил гитару в другую руку, поднес указательный палец к губам, потом быстро-быстро и совсем непринужденно приложил палец к одной Вериной щеке, к другой, словно обжегся, и сказал два раза: «Пс! пс!»

— Это как утюг пробуют? — спросила Вера.

— Вот именно. Умница. Все понимаете.

— Ну уж... — смутившись, сказала Вера и украдкой заглянула в зеркало. И в самом деле, щеки с морозу были красные, как огонь, с легким пушком и, пожалуй, славные.

И все-таки, какой-то он странный...

А странный студент быстро, ловко и все так же непринужденно снял с нее бархатный жакет, меховую шапочку, отобрал маленькую муфту и все это развесил, разложил, поворачиваясь гибко, стройно, взмахивая черным крылом висящей тужурки, которая, неизвестно как держась на плече, еще и танце-

вать ухитрялась. Все это было немножко через меру. Для той несложной работы, которую он делал, было слишком много движений. Казалось, вот-вот он переломится в поясе.

Он распахнул дверь и поклонился, пропуская ее вперед.

В комнате — не то столовой, не то гостиной — было накурено, пел самовар, гремели чашки. Хозяйка дома — худая, веснушчатая девица с лошадиным лицом и пенсне на каких-то постромках — еле заметила Веру, наскоро пожала ей руку, сказала: «Развлекайтесь самостоятельно. У нас без церемоний. Чаю?» — и, не дождавись ответа, присоединилась к спорящим.

Спор гудел, как шмелиный улей. Табачный дым ходуном ходил над чайным столом с грязными тарелками, мокрыми окурками, бескровными ломтиками лимона в недопитых стаканах. О чем спор? Слышно было: «...Государственная дума... Марков Второй... дело Бейлиса... медицинская экспертиза... международный скандал... дело Бейлиса...»

Внезапно от группы спорящих отделился один — грузный мужчина с черной бородой, — поднял широко, как сковорода, руку и мощным, покрывающим спор басом возгласил: «Сейчас дело не в этом. Сейчас главное — в теории. Без теории нет революции, нет борьбы».

А Вера ничего не понимала в теории. Ей, наверно по наивности, казалось, что никакой теории не нужно. Разве нужна теория, чтобы любить и ненавидеть? Она пришла в революцию просто потому, что иначе не могла. И еще потому, что они лежали там вечно: мертвый дед и мертвая Циля. Но об этом она

никогда никому не говорила. Она никого не могла пустить туда, где они лежали.

Сидя на диване и еле прислушиваясь к спору, она оглядывалась, блестя оживленными глазами. Нет, его, кажется, не было тут — того товарища, с которым они условились встретиться. Которому она должна была сказать условные слова (только бы не забыть!). Который должен был передать ей письма из Центра. Лица кругом были все незнакомые. Знакомым — пугающе знакомым — казался только один — тот студент, что отворил ей дверь и обжегся об ее щеки. Он все время мелькал по комнате — быстрый, поворотливый, горя глазами, взмахивая черным крылом тужурки, нагибаясь то к одному, то к другому, и вдруг остановился перед ней, поставил ногу на стул, крепко и точно ухватил гитару, пристукнул костяшками пальцев по деке, ущипнул струны — раз, другой... И сразу не стало слышно спорящих голосов. С проникающей нежностью заняли струны...

— А ну! — крикнул он самому себе и быстрой, задыхающейся скороговоркой вырвался, понесся вперед:

Во поле березонька стояла...

Во поле кудрявая стояла... —

сообщал он доверительно, полупшепотом, словно невесть какую новость (только вам, только вам!). А гитара так и порхала у него в руках, вертелась, подпрыгивала.

Белую березу заламаю... —

сообщал он все так же, по секрету, неистово глядя Вере в глаза. «Заломает, — верилось ей, — ох, заломает!»

— Вот так-то, — сказал он, закончив песню и сядя рядом. — Будем чай пить.

Все было сизо от дыма, и окурки лежали везде: в блюдечках, на подоконниках, в стаканах с ломтиками лимона. И споры, как окурки, намокли желтым, и Вера ничего не понимала, но веселый студент был рядом: вскакивал, садился, хватал и откладывал гитару — беспокойный, как огонь на ветру. Но странное дело — от его беспокойства ей было спокойно. Того товарища все не было, это должно было тревожить Веру, но не тревожило, все было в порядке, и она даже не испугалась, когда около полуночи раздался звонок — долгий, требовательный — и кто-то сказал: «Полиция!» Произошла небольшая суматоха, кто-то ахнул, кто-то разбил стакан, хозяйка предложила всем сохранять присутствие духа, а грузный чернобородый пошел отворять. Вера и сама не сообразила, как она оказалась в коридоре, а потом на кухне, с тем самым студентом.

— Быстро одевайтесь, — приказал он шепотом, подавая ей жакет и шапочку. — Муфты не нашел. Обойдетесь?

— Несомненно.

— Я вас сейчас отсюда выведу. Не боитесь?

— Нет.

Он резко рванул к себе раму окна, она распахнулась с сухим бумажным треском. Оттуда дохнул темный, влажный воздух ранней зимы. Снег уже перестал, и после накуренной комнаты неожидан-